

18+

АНАТОМИЯ ТИШИНЫ

12 историй



Илья Хлебнов



Илья Хлебнов

Анатомия тишины

«Издательские решения»

Хлебнов И.

Анатомия тишины / И. Хлебнов — «Издательские решения»,

Двенадцать историй о людях, застигнутых врасплох собственной памятью. Часовщик читает дневник умершей жены. Менеджер увольняет людей по списку — и однажды не может вспомнить лицо. Двое молодых людей за одну ночь проживают целую жизнь вместе — и утром расходятся, зная о себе больше, чем хотели. Муж актрисы строит для неё спасительный театр из красивой лжи. Книга не предлагает готовых ответов — она предлагает читателю самому отправиться в путь и отыскать дорогу домой.

© Хлебнов И.

© Издательские решения

Содержание

АНАТОМИЯ ТИШИНЫ	6
Сборник повестей и рассказов	7
ВСЁ ЕЩЁ ЖДУТ	7
рассказ	8
Глава 1. Тишина	9
Глава 2. Шкатулка	10
Глава 3. Первые записки	11
Глава 4. Мальчик	12
Глава 5. Солдат	13
Глава 6. Старуха	14
Глава 7. Закономерность	15
Глава 8. На дне	16
Глава 9. Утро	17
ПЕРИМЕТР	18
рассказ	19
Глава 1. Контур нормальности	20
Глава 2. Линия отреза	22
Глава 3. Срез долины	24
Глава 4. Внутренний туман	26
Глава 5. Торжество периметра	27
ЭПИТАФИЯ	29
повесть	30
Глава 1. Земля / Взгляд	31
Глава 2. Работа	34
Глава 3. Без имени	37
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Анатомия тишины

Илья Хлебнов

© Илья Хлебнов, 2026

ISBN 978-5-0070-8038-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

АНАТОМИЯ ТИШИНЫ

Сборник повестей и рассказов

ВСЁ ЕЩЁ ЖДУТ

рассказ

Иосиф — старый мастер-часовщик. Три месяца после смерти жены Раи. В платяном шкафу он находит деревянную шкатулку — в ней тетрадь, которую Рая вела сорок лет тайно. Записи о чужих людях и чужих часах, которые проходили через мастерскую. И о них самих.

Глава 1. Тишина

В мастерской пахло машинным маслом и старым деревом. Так было всегда — Иосиф давно перестал это замечать. Он замечал другое: с некоторых пор в мастерской стало тише. Не тише в смысле звуков, звуки остались те же — тиканье на полке, скрип табурета, тонкий звон пинцета о стекло. Тише в каком-то другом смысле, который он не умел назвать.

Он работал. Принёс часы — карманные, серебряные, с монограммой на крышке. Положил на замшу, открыл. Внутри всё было покрыто пылью и чем-то похожим на обиду — так бывает с вещами, которые долго не трогали. Иосиф надел лупу и склонился над верстаком.

Раньше в этот момент из-за перегородки доносилось что-нибудь — шорох бумаги, негромкий голос, иногда смех. Рая разговаривала с клиентами долго, обстоятельно, как будто у неё было время на всё. Иосиф не прислушивался, он думал о пружинах. Теперь перегородка была там же. Стол был там же. Квитанционная книжка лежала там, где Рая её оставила, — с закладкой на августовской странице. Иосиф завёл себе другую, дешёвую, в клетку. Писал в неё сам — неровно, с нажимом, буквы слишком крупные для граф.

В дверь постучали.

— Открыто, — сказал он, не поднимая головы.

Вошла женщина лет пятидесяти, в пальто, с сумкой на сгибе локтя. Остановилась у порога — видно, ждала, что её как-то встретят. Иосиф не встретил. Он вынимал из механизма ось и держал её на кончике пинцета, как будто это был единственный важный предмет в комнате.

— Добрый день, — сказала женщина.

— День добрый.

— Мне сказали, вы чините старые часы.

— Чиню.

Она подошла к верстаку и положила перед ним часы — наручные, женские, с потёртым браслетом. Иосиф покосился, не убирая лупы.

— Что с ними?

— Стоят. Уже два года.

— Оставьте. Позвоните через неделю.

Женщина помялась. Иосиф понял, что она хочет что-то добавить — объяснить, чьи они, почему важны, почему именно два года. Раньше Рая уже спрашивала бы. Рая умела спрашивать так, что люди отвечали охотно, почти с облегчением.

Иосиф взял бланк и написал номер заказа.

— Имя?

Женщина назвала. Он записал, оторвал квитанцию, протянул через верстак. Женщина взяла её, подождала ещё секунду и вышла. Дверь закрылась. Иосиф посмотрел на оставленные часы. Потом на дверь. Потом снова взял пинцет.

За окном была зима — не настоящая ещё, ноябрьская, без снега. Серая, как промокашка. Свет в мастерской стоял неподвижно, и в нём плавала пыль, медленно, как будто тоже никуда не торопилась. На полке тикали семь пар часов, оставленных на хранение или в ожидании запчастей. Иосиф слышал их всегда — по отдельности, каждый своим голосом. Это был не шум. Это было что-то вроде присутствия.

Он работал до темноты. Закрыл мастерскую, поднялся по узкой лестнице наверх, в квартиру, разогрел суп из кастрюли, поел стоя у плиты.

Лёг. Лежал и смотрел в потолок, пока не заснул — быстро, без сновидений, как человек, который очень устал, хотя весь день почти не двигался.

Глава 2. Шкатулка

Вещи Раи он не трогал два месяца. Не потому что не мог. Просто каждый раз, когда он подходил к платяному шкафу, оказывалось, что есть что-то более срочное — заказ, который нужно закончить, чайник, который закипел, звонок, на который надо ответить. Иосиф был честным человеком и понимал, что это неправда. Но продолжал так делать.

В воскресенье срочных дел не нашлось. Он открыл шкаф в десять утра, при дневном свете, как будто это что-то меняло. Внутри висели её платья — четыре, он знал их наизусть, хотя никогда специально не запоминал. Пахло лавандой и чем-то ещё, чем-то, что он не сумел бы описать, но узнал бы из тысячи запахов. Он постоял секунду, потом начал складывать. Работал методично, как всегда. Платья — в стопку, шарфы — отдельно. На верхней полке лежали коробки из-под обуви с документами, которые он отложил до другого раза, и зимняя шаль, которую Рая не успела надеть в этом году. В глубине, за шалью, стояла шкатулка. Деревянная, тёмная, с простой застёжкой. Иосиф не видел её раньше — или видел, но не замечал. Он взял её в руки. Лёгкая. Внутри что-то смещалось при наклоне — бумага, не что-то твёрдое.

Он отнёс шкатулку на кухонный стол и сел. Застёжка открылась легко — не заперто, просто закрыто. Внутри лежала тетрадь — обычная, в клетку, с мягкой обложкой, каких продавали в любом канцелярском. Иосиф открыл её на первой странице.

Дата — ноябрь, девяносто четвёртый год. Её почерк, аккуратный, немного наклонённый вправо. Несколько строк, потом — пробел. Потом снова дата, другой год. И снова несколько строк. Не письма, не записки ему, что-то другое. Он перелистал несколько страниц, не читая — просто чтобы понять объём. Тетрадь была заполнена примерно до половины. Последняя запись — без даты, совсем короткая, в самом низу страницы.

Иосиф закрыл тетрадь. Сидел и смотрел на шкатулку. За окном кто-то во дворе завёл машину, прогрел и уехал. Батарея щёлкнула и затихла. Иосиф накрыл шкатулку крышкой, задвинул застёжку и отнёс на подоконник в спальне — туда, где стояли её немногие вещи, которые он не решился убрать.

Три дня он не подходил к окну с той стороны. На четвёртый день — уже вечером, уже без всякого решения, просто проходя мимо — он взял шкатулку, снова отнёс на кухню и открыл. Достал тетрадь, открыл на первой странице, развернул. Почерк был тот же. Несколько строк, не больше. Он прочитал, потом перечитал. Долго держал тетрадь в руках. Потом аккуратно закрыл её, положил обратно в шкатулку и закрыл крышку.

Встал, налил воды и выпил стоя у раковины, глядя в тёмное стекло. Завтра, подумал он. Завтра прочитаю остальное. Но это была неправда, и он это знал.

Глава 3. Первые записки

Он начал читать на следующий вечер — не с начала, с середины. Так иногда делают с книгами, которых боятся. Запись была короткая:

Март, 1998. Мужчина, лет сорок пять. Принёс часы с гравировкой на крышке — женское имя, Тамара. Пока Иосиф смотрел механизм, сказал мне, что уходит от жены. Сегодня. Часы починят через три дня, но он сказал, что заберёт их потом — не сразу. Я не спросила почему. Наверное, он сам не знал.

Иосиф поднял глаза от тетради. Посмотрел в окно — за стеклом была темнота и размытый фонарь.

Мужчину он не помнил. Или помнил — смутно, как помнят лицо в очереди. Часы с гравировкой — таких было много. Тамара. Он попробовал вспомнить почерк букв, угол резца, глубину линии. Ничего не поднималось. Рая помнила.

Он перелистнул назад, к самому началу.

Ноябрь, 1994. Молодая женщина, совсем молодая — может, двадцать два, двадцать три. Принесла часы в бумажном пакете, держала как что-то хрупкое. Сказала, что несла их в роддом как талисман, но не успела — началось раньше, чем ждали. Всё хорошо, сказала она, мальчик. Часы стояли уже три года, она хотела, чтобы они шли — к его рождению. Иосиф починил их за день. Она забрала и сказала спасибо так, будто это было что-то большее, чем спасибо.

Иосиф помнил эту женщину. Не лицо — руки. Она держала пакет двумя руками, снизу, как держат что-то, что может выпасть. Он не знал про роддом. Он знал только, что часы стояли давно и пружина была несложная. Рая знала остальное.

Он читал медленно, с паузами. Записи были короткие — три, четыре предложения, иногда меньше. Рая не объясняла и не рассуждала. Она просто записывала: кто пришёл, что сказал, что стояло за этим — если она понимала. Иногда в конце была одна фраза, как будто для себя. Иногда не было ничего.

Иосиф дочитал до середины тетради и закрыл её. Сидел за кухонным столом, положив руки на обложку. В мастерской под ним тихо тикали чужие часы — он слышал их даже здесь, сквозь пол. Семь голосов, каждый своим темпом. Сорок лет, подумал он. Сорок лет рядом. Он смотрел в другую сторону. Он думал о пружинах.

Глава 4. Мальчик

Запись была без числа. Только год — девяносто седьмой — и время: утро.

Мальчик, лет двенадцать. Пришёл один. Принёс часы в носовом платке — завязал узлом, как узелок с едой. Мужские, большие, ему явно велики были даже в руках. Попросил выгравировать имя. Своё. Иосиф спросил — на крышке или на задней стенке. Мальчик сказал: чтобы было видно только когда снимаешь. Я спросила потом, когда Иосиф ушёл обедать: чьи часы? Он сказал — папины. Я спросила: папа знает? Он помолчал и сказал: папа уехал. Я не стала спрашивать больше. Он забрал часы в тот же день, надел прямо у прилавка — они болтались у него на запястье. Ушёл не оглядываясь.

Иосиф отложил тетрадь. Мальчика он помнил. Это было странно — он почти никогда не запоминал детей, они редко приходили одни. Но этого помнил. Маленькое серьёзное лицо, узелок из платка. И то, как он назвал имя для гравировки — чётко, по буквам, как будто боялся, что не так запишут.

Иосиф тогда подумал: странный заказ. Гравировать своё имя на чужих часах. Он не спросил. Рая спросила.

Он встал, подошёл к окну. Двор был пустой, мокрый, под фонарём блестела лужа. Иосиф смотрел на неё и думал о том, как мальчик надевал часы — неловко, застёжка наверняка не на ту дырку, слишком свободно. И всё равно надел. И ушёл так, как уходят, когда сделали что-то важное и не хотят, чтобы это видели.

Папа уехал. Иосиф не знал, что это значило. Уехал насовсем или на время. Уехал сам или его попросили. Мальчик не сказал, и Рая не стала спрашивать больше — она умела останавливаться в нужном месте. Иосиф этого не умел. Впрочем, он и не начинал. Он попробовал вспомнить имя — то, что выгравировал. Буквы на задней стенке, мелкие, ровные. Он всегда старался делать ровно, даже на детских заказах. Имя не всплывало. Осталось только ощущение — что буквы были короткие, три или четыре.

Может, Лёва, подумал он. Или Миша. Или совсем другое, и он просто придумывает.

Он вернулся к столу, открыл тетрадь на следующей странице. Потом закрыл, посмотрел на обложку — простая, серая, без надписей. Рая не подписала. Как будто не собиралась прятать, но и не собиралась показывать. Просто писала. Иосиф долго сидел так, не открывая.

За окном прошёл кто-то с собакой — голоса не было слышно, только цоканье когтей по асфальту, быстрое и деловитое. Потом тишина. Он думал о мальчике, который ушёл не оглядываясь. И о том, что есть вещи, которые человек делает молча — не потому что не хочет говорить, а потому что ещё не знает, как это называется.

Глава 5. Солдат

Эту запись Рая написала иначе.

Не короче и не длиннее — иначе. Иосиф это почувствовал раньше, чем понял. Почерк был тот же, но буквы стояли чуть дальше друг от друга, как будто она писала медленнее обычного.

Февраль, 2001. Молодой человек, лет девятнадцать, может меньше. Принёс часы — простые, советские, «Восток». Попросил выгравировать: «Я вернусь». Иосиф спросил — на крышке? Он сказал: на задней стенке, и чтобы мелко. Я спросила — куда едет. Он сказал: в армию. Я спросила — далеко? Он пожал плечами. Часы не забрал. Я ждала неделю, потом месяц. Потом перестала ждать.

Иосиф перечитал запись. Потом ещё раз.

«Восток», февраль две тысячи первого. Он помнил эти часы — не мальчика, часы. Советский механизм, надёжный, неприхотливый, такие носили отцы и деды. На задней стенке было немного места, буквы пришлось делать совсем мелкими. «Я вернусь» — восемь букв, он считал, когда размечал. Мальчика он не помнил. Совсем. Иосиф закрыл тетрадь и сидел так довольно долго.

За окном было по-ноябрьски темно — рано, в пятом часу уже ночь. Он не вставал зажечь свет, сидел в темнеющей кухне и думал о вещах, о которых старался не думать.

Две тысячи первый год. Он знал, что это значило — куда ехали в феврале две тысячи первого молодые люди с вещами. Это не было секретом. Это просто было то, о чём не говорили вслух в маленькой мастерской, где чинили часы.

Рая говорила. Тихо, в тетрадь, вечером. Иосиф не спрашивал себя, почему мальчик не пришёл. Он знал, что есть два ответа, и оба были возможны, и ни один не делал эту страницу легче. Он сидел в темноте и слушал, как тикают часы внизу, в мастерской. Семь голосов. Ровные, спокойные, каждый своим темпом. Часы не знали, чьи они и что за ними стоит, они просто шли. Иосиф подумал: может, в этом и есть что-то правильное. Потом подумал: нет. Неправильно — не знать.

Он встал, зажёл свет над столом, налил себе чаю, которого не хотел. Поставил кружку на стол, но не пил. Открыл тетрадь на следующей странице — и сразу закрыл. Не сейчас. Предыдущая страница ещё не отпустила. Он взял кружку, обхватил её двумя руками — просто чтобы было что держать — и сидел так, пока чай не остыл.

Глава 6. Старуха

Следующую запись он прочитал утром — впервые не вечером, а при дневном свете, за кофе, как будто это стало привычкой.

Сентябрь, 2003. Пришла пожилая женщина — маленькая, аккуратная, в берете. Принесла двое часов в отдельных мешочках, завязанных бечёвкой. Положила на стол и сказала: обе пары стоят, обе нужно починить. Иосиф спросил, чьи вторые. Она сказала: мужа. Он умер десять лет назад. Иосиф спросил — зачем чинить, если носить некому. Она посмотрела на него и сказала: затем же, зачем чинить свои. Иосиф не нашёлся что ответить. Я тоже не нашлась. Она забрала обе пары через неделю, уложила обратно в мешочки. Уходя, сказала спасибо — сначала Иосифу, потом мне. Будто мы сделали что-то разное.

Иосиф поставил кружку. Эту женщину он помнил хорошо. Берет, прямая спина, руки без лишних движений. И то, как она смотрела на него после его вопроса — не с обидой, не с упрёком. Просто смотрела, как смотрят на человека, который сказал что-то не то, но не по злобе, а по нехватке чего-то. Зачем чинить, если носить некому.

Иосиф тогда решил, что это странная причуда — сентиментальность, каких много у пожилых людей. Починил оба механизма одинаково тщательно, это само собой. Но не думал об этом дольше, чем нужно. Рая думала. Написала: будто мы сделали что-то разное.

Иосиф медленно допил кофе. Он понял, что Рая имела в виду. Он починил часы, Рая — поговорила с женщиной, выслушала, не стала объяснять ей, зачем или незачем хранить мужнины часы. Просто была рядом, пока та ждала. Это было что-то другое, и старуха это почувствовала — потому и сказала спасибо дважды.

Иосиф смотрел на пустую кружку. Сорок лет они работали в одной комнате. Он думал, что делают одно дело. Оказывается, каждый делал своё — и вместе это было больше, чем каждое по отдельности. Он просто не видел её половины. Смотрел в механизм, думал о пружинах.

Он встал, ополоснул кружку, поставил на сушку. Спустился в мастерскую, сел за верстак, надел лупу, взял в руки заказ — карманные часы, с монограммой, давно ждущие. Начал работать.

Но сегодня, когда в дверь постучали и вошёл мужчина лет сорока с часами в кулаке, Иосиф не сразу опустил голову. Он посмотрел на мужчину секунду — просто посмотрел. Тот немного растерялся.

— Добрый день, — сказал Иосиф. — Присаживайтесь.

Мужчина удивлённо огляделся — стула у прилавка не было — и остался стоять. Иосиф это заметил и почувствовал что-то неловкое, почти стыдное. За сорок лет они так и не поставили стул для клиентов. Рая всегда выходила из-за перегородки, сама подходила. Стул был не нужен.

— Что случилось с часами? — спросил Иосиф.

И пока мужчина объяснял — коротко, по делу, — Иосиф слушал. Не только то, что касалось механизма.

Глава 7. Закономерность

Он заметил это случайно. Искал запись про солдата — хотел перечитать, что-то не давало покоя — и листал тетрадь назад, и вдруг увидел дату. Остановился, перелистнул ещё. Снова дата. Он начал сначала.

Ноябрь, девяносто четвёртый — первая запись. Он встал, нашёл в ящике стола старый ежедневник, полистал. Ноябрь девяносто четвёртого — они переехали в эту мастерскую. Бросили старую, на другом конце города, где было сыро и тесно, и переехали сюда. Рая тогда сказала: наконец-то. И засмеялась.

Он вернулся к тетради. Март, девяносто восьмой — мужчина с гравировкой, уходивший от жены. Иосиф подумал. Март девяносто восьмого — умерла Раина мать. Они не закрывали мастерскую, Рая сказала, что так лучше, что работа помогает. Он согласился, потому что не знал, что ещё сказать.

Февраль, две тысячи первого — солдат. Февраль две тысячи первого — их сын уехал в другой город. Насовсем, со своей семьёй, по работе. Они виделись потом раз в год, иногда реже.

Иосиф сидел и смотрел в тетрадь.

Он листал дальше, медленно, сверяясь с памятью. Не всё совпадало точно — иногда разрыв в несколько недель, иногда в месяц. Но совпадало. Запись за записью, год за годом. Чужие люди с чужими часами — и рядом, невидимо, что-то своё. Их жизнь, просвечивающая сквозь чужие судьбы. Рая не написала об этом ни слова. Ни намёка, ни объяснения. Просто выбирала — именно этого человека, именно в этот день — и записывала. Как будто говорила: смотри, вот что происходит с людьми. Вот что происходит с нами. Это одно и то же.

Иосиф закрыл тетрадь и долго смотрел на обложку.

Он думал о том, каким нужно быть человеком, чтобы сорок лет вести такой дневник. Не для кого-то, не напоказ. Просто — замечать, просто — записывать. Держать в голове и в сердце и чужое горе, и своё, и видеть между ними что-то общее. Он не был таким человеком. Он всегда думал, что это она — мягкая, разговорчивая, открытая — дополняет его, молчаливого и сосредоточенного. Что они вместе составляют что-то целое. Это было правдой. Но он только сейчас понял, насколько большей была её половина.

За окном стемнело совсем, ноябрь не спрашивал разрешения. Иосиф не зажигал свет, сидел в темноте, как уже сидел однажды — после записи про солдата. Но тогда было горе чужое, далёкое, преломлённое через её слова. Теперь было своё. Он думал о том, сколько вечеров она сидела вот так — после трудного дня, после чьей-то беды, после их собственной тихой потери — и открывала эту тетрадь. И писала. И закрывала. И утром выходила в мастерскую как ни в чём не бывало.

Он не знал. Он спал рядом и не знал.

Наконец он встал, зажёл свет, умылся холодной водой над раковиной. Посмотрел на себя в зеркало — долго, как смотрят на малознакомого человека. Потом вернулся к столу, открыл тетрадь на последних страницах. Там было ещё несколько записей. И на дне шкатулки — он только сейчас заметил — лежало что-то ещё.

Глава 8. На дне

Он достал это не сразу.

Сначала дочитал последние записи — их было три, все короткие, все из последних лет. Люди с часами, несколько фраз, одна финальная строчка. Рая писала так же, как всегда — ровно, без нажима. Только последняя запись была без даты, и почерк чуть другой — не хуже, просто тише, как будто писала устав или не торопясь.

Старик, лет восемьдесят. Принёс будильник — советский, круглый, с двумя колокольчиками. Сказал, что купил его в день свадьбы, что он будил их каждое утро пятьдесят лет, а теперь молчит. Иосиф починит. Я смотрела на этого человека и думала: вот как это выглядит снаружи. Наверное, со стороны мы тоже так выглядим.

Иосиф перечитал последнюю фразу дважды. Наверное, со стороны мы тоже так выглядим. Он закрыл тетрадь и положил её на стол. Потом взял шкатулку и наклонил — на дне лежало что-то плоское, тёмное. Он достал.

Это были его часы.

Не запись о них — сами часы. Наручные, мужские, с потёртым кожаным ремешком. Он узнал их сразу — узнал царапину на стекле, узнал форму корпуса, узнал ощущение в руке, хотя не держал их, наверное, лет тридцать. Они остановились. Стрелки стояли на двенадцати минутах второго. Под часами лежал сложенный листок — отдельный, не из тетради.

Три слова, её почерком: Всё ещё ждут.

Он вспомнил, как сломались эти часы. Давно, в начале девяностых — что-то с механизмом, он собирался починить сам, всё откладывал. Потом положил в ящик стола и забыл. Рая никогда не напоминала. Он думал, что она забыла тоже. Она не забыла.

Он встал и спустился в мастерскую — в темноте, не зажигая верхний свет, только настольную лампу над верстаком. Сел, положил часы на замшу.

Механизм был запылённый, но целый. Иосиф взял пинцет, лупу, начал смотреть. Ничего сложного — пружина, давно севшая, и один зубец на колесе, чуть погнутый. Старая работа, простая. Он мог починить это за двадцать минут тридцать лет назад. Он чинил два часа. Не потому что было трудно. Просто работал медленно — медленнее, чем обычно, тщательнее, чем требовалось. Каждую деталь держал дольше, чем нужно. Как будто торопиться было некуда и незачем, и это было правдой.

В мастерской было тихо, на полке тикали чужие часы — ровно, терпеливо. Иосиф работал при лампе, и круг света лежал на верстаке, и за этим кругом была темнота, и в темноте стояли полки с инструментами и гравировальный станок и стол Раи с квитанционной книжкой с закладкой на августовской странице.

Он закончил в начале первого. Завёл пружину. Часы пошли — сразу, без колебаний, как будто только и ждали. Иосиф послушал несколько секунд. Голос был тихий, ровный, чуть ниже, чем у других. Он поднялся наверх, в спальню, и положил часы на тумбочку — не в ящик, не на полку. На тумбочку, рядом с лампой, где их было слышно. Лёг, слушал. Заснул не скоро — но заснул.

Глава 9. Утро

Клиент пришёл в половине одиннадцатого. Иосиф услышал шаги на лестнице раньше, чем открылась дверь — молодые, быстрые, потом замедлились у порога. Вошёл мужчина лет двадцати пяти, в куртке, с рюкзаком на одном плече. Остановился, огляделся — так оглядываются люди, которые никогда не были в мастерских: немного растерянно, как будто ожидали другого.

— Добрый день, — сказал он. — Мне сказали, вы чините часы.

— Чиню, — сказал Иосиф. — Заходите.

Мужчина подошёл к верстаку. Долго не доставал часы — стоял, смотрел на полку, на инструменты, на гравировальный станок. Иосиф не торопил. Он заметил, что мужчина держит обе руки в карманах — глубоко, как будто там что-то важное или как будто так спокойнее.

Наконец достал часы. Положил на верстак — осторожно, не бросил.

Иосиф посмотрел на них. Наручные, мужские, не дорогие, не новые — ремешок потёртый, но стекло без царапин, значит берегли. Потом посмотрел на мужчину.

Тот смотрел в сторону.

— Что случилось? — спросил Иосиф.

Мужчина чуть повёл плечом — жест, который должен был означать «не знаю» или «ничего особенного».

— Стоят. Со вчерашнего дня.

Иосиф не взял часы в руки, подождал.

За окном был ноябрь — такой же серый, как все предыдущие дни, но сегодня в нём было чуть больше света, чем обычно. Свет лежал на верстаке узкой полосой и на краю этой полосы поблёскивал корпус часов.

— Чьи они? — спросил Иосиф.

Мужчина наконец посмотрел на него. Удивлённо, как смотрят, когда вопрос не тот, которого ждали.

— Отцовские.

Иосиф кивнул. Мужчина молчал секунду, две. Потом сказал — тихо, без предисловий, как будто слова уже давно стояли у горла и только ждали:

— Он умер три дня назад.

Иосиф смотрел на него. Не на часы — на него.

— Присаживайтесь, — сказал он.

Стула у прилавка по-прежнему не было. Иосиф вышел из-за верстака, взял табурет от гравировального станка и поставил перед прилавком. Мужчина посмотрел на табурет, потом на Иосифа, и сел. Иосиф вернулся на своё место.

В мастерской было тихо — только часы на полке, ровные, терпеливые, каждые своим голосом. И где-то среди них, неразлично, — его собственные, с тумбочки, которые он взял утром и положил в карман. Просто так. Просто чтобы они были рядом.

— Расскажите, — сказал Иосиф.

Мужчина поднял глаза. И начал говорить. Иосиф слушал. Не перебивал, не кивал слишком часто, не смотрел на часы. Просто слушал — так, как умела Рая, как он сам никогда не умел, а теперь учился. Свет в окне менялся медленно, почти незаметно, становился чуть теплее, чуть шире.

Часы на полке шли.

Конец

ПЕРИМЕТР

рассказ

Туман здесь — не только погода. Он густеет постепенно, отрезает от мира, делает людей управляемыми. Смотритель обсерватории выстраивает периметр — последнее пространство, где можно остаться собой.

Притча о нашем времени и цене молчания.

Глава 1. Контур нормальности

Лев Самуилович проснулся в четыре пятьдесят две, на восемь минут раньше будильника. И сразу понял, что туман вернулся. Не по звуку. По давлению в ушах. Он встал, надел очки, халат, тапочки, подошел к окну. За стеклом стояла белая стена — не утренняя дымка, которая тает к восьми, а та плотная, молочно-белая масса, которая приходит с севера. Он задернул шторы и пошел ставить чайник.

Расписание было составлено в первый год работы и с тех пор не менялось. Пять пятнадцать — чай, хлеб, два яйца. Пять сорок пять — обход. Шесть тридцать — замер данных: давление, температура, влажность. Ровно в семь — запись в журнал.

За завтраком он слушал тишину. Обсерватория молчала правильно: потрескивала труба, гудел сквозняк, иногда шелкал металл кровли. Знакомые звуки. Он доел, убрал посуду.

Обход начинался с подвала и наверх до купола. Ноги двигались на автомате, пока голова занималась своим. В котельной осмотрел и потрогал трубу — нормально. Уголь — недели на три, надо заказывать. В архивном зале провел рукой по полке — сухо. В окнах второго этажа туман был уже не белым, а серым, почти графитовым. Лев Самуилович остановился на этом виде дольше обычного. В этом тумане что-то было не то. Он был другим, не обычным. Не сам туман, а его вес. Он лежал слишком ровно, слишком плотно, как будто он вырос из самих камней. Лев Самуилович пожал плечами и пошел дальше. В куполе было холоднее обычного. Он записал: минус четыре, влажность шестьдесят восемь. Для ноября нормально. Чуть выше нормы, но в пределах. Потрогал уплотнитель — держит, ощупал стыки — сухо. Осмотрел телескоп: чехол застегнут за все кнопки, механизм наведения в исходном положении.

В семь ноль-ноль сел за стол, открыл журнал, записал дату. Столбцы цифр: давление, температура, влажность, ветер. В графе «особые отметки» написал: «Туман северный. Видимость — менее двадцати метров. Признаков намокания конструкции нет».

Закрыв журнал. Выровнял по краю стола.

Журнал он вел с первого дня. Не потому, что требовала инструкция, инструкция требовала лишь передавать сводки раз в месяц, почтой, в институт, а потому, что понимал: ценность одного замера равна нулю. Ценность появляется в ряду. Тысяча замеров — это уже что-то. А двадцать три года ежедневных записей — это то, что не восстановишь задним числом. Однажды он объяснял это лаборанту, которого прислали на сезон. Тот слушал вежливо, через три месяца уехал и не вернулся. Лев Самуилович не обиделся. Он продолжил вести журнал.

Пропущенный день — это дыра. Дыры не зарастают.

Из института отвечали редко, часто с опозданием на месяц, а то и на два. Писали коротко: «данные получены, замечаний нет». Иногда, редко, просили уточнить показания за какое-то число. Он уточнял и на этом всё. Больше ему не было нужно, только знать, что данные доходят и ложатся в общий ряд. В длинный ряд цифр, который начался задолго до него.

Последние полгода из института не отвечали.

В пятницу туман немного поредел — не рассеялся, но отступил метров на пятьдесят, и серпантин стал виден до первого перекрестка. Самое время отправиться в поселок в долине. Он собрал рюкзак по списку: термос, деньги, список покупок, список вопросов для звонка в институт. В нем было только два пункта. Расходники для самописцев — чернила и лента для барографа. И второй пункт, который он записал, но сомневался в его уместности: «уточнить, актуален ли ежемесячный формат отчетов».

Он убавил тягу в печи, надел куртку, запер дверь и пошел.

Туман встретил его на пороге — влажный, тяжелый, с запахом мокрого камня. Лев Самуилович застегнул верхнюю кнопку куртки и пошел вниз по серпантину, глядя под ноги. Дорогу он знал до каждой выбоины. Туман за спиной сомкнулся, и обсерватория исчезла.

Поселок появился внезапно, как всегда: последний поворот — и сразу крыши, дым из труб, запах угля и сохнувшего белья. Лев Самуилович всегда удивлялся этому переходу. Этой внезапной смене двух разных миров, соединенных восемью километрами дороги.

На почте для него была только квитанция на посылку, он расписался, получил небольшой фанерный ящик, осторожно потряс. Что-то глухо сдвинулось внутри. Скорее всего чернила, заказывал еще в июле, дошли с опозданием на три месяца. Он убрал ящик в рюкзак, спросил, есть ли письма до востребования.

— Нет, — сказала почтальонша, не глядя. — Давно уже нет.

В лавке хозяин — пожилой, крепкий мужчина с желтыми усами — заказ собирал молча. Потом все же спросил:

— Туман у вас стоит?

— Стоит.

— У нас тоже. Третью неделю. — Помолчал. — Раньше такого не было.

Лев Самуилович не ответил. Он и сам это знал. Но говорить об этом с хозяином лавки смысла не было.

На улице он достал телефон. Здесь, в долине, сигнал был — два деления, но были. Набрал номер института. Тишина. Набрал еще раз. То же самое. Убрал телефон в карман.

На обратном пути рюкзак давил на плечи равномерно и привычно. К полудню туман не рассеялся, только немного посветлел. На полпути Лев Самуилович поставил рюкзак на камень и посмотрел вниз. Поселка уже не было видно — только серая муть и едва различимый запах дыма. Посмотрел вверх. Обсерватории тоже не было видно. Он стоял в середине белого коридора между двумя невидимыми сейчас точками.

Постоял, поднял рюкзак, пошел.

Вечером распаковал ящик. Три флакона чернил, лента для барографа. Проверил уплотнители в зале архива, убавил тягу на ночь, завел хронометр. В журнале записал: «Спуск в поселок. Расходники получил, связи с институтом нет. Туман в долине третью неделю. Дорога в норме».

Закрыл журнал, выровнял по краю стола, лег спать.

Глава 2. Линия отреза

Туман не ушел. Лев Самуилович фиксировал это каждое утро, в графе «особые отметки», одной строкой. «Туман. Видимость двадцать метров». Потом «менее десяти». Потом перестал писать цифру, просто: «туман».

Прошла неделя, потом еще одна.

Он звонил в институт каждый раз, когда спускался в поселок. Телефон набирал номер, иногда вызов возвращался длинными гудками, но заканчивался ничем. Однажды механический голос предложил ему оставить сообщение. Лев Самуилович помолчал секунду, потом нажал «отбой». Говорить было не с кем.

Он купил керосин, крупу, увеличил запас спичек и соли. Не потому, что ждал худшего, просто пересчитал и понял, что запас был рассчитан на нормальное снабжение, а нормального снабжения давно не было.

На третьей неделе туман стал немного меняться. Не густеть — он уже был предельно густым, он начал оседать. Влага собиралась на камнях, на перилах крыльца, на металлических петлях и других частях дверей и наружной лестницы. К утру все это схватывалось тонкой пленкой льда. Лев Самуилович выходил с молотком и сбивал наросты льда с петель и засовов — иначе к вечеру их было не открыть.

Серпантин покрылся изморосью. Он надел ботинки с шипами, натянул перчатки с насечками и спустился вниз, дошел до первого поворота, посмотрел вниз и вернулся. Дальше не пошел. Дорога была не дорогой, а полоской льда, уходящей в белое.

В поселок он больше не спускался. Телефон клал на зарядку каждую ночь — привычка. Наверху, в горах сигнала привычно не было. Но Лев Самуилович иногда доставал телефон, смотрел на экран: ноль делений, время, дата. И убирал обратно.

Сырость начала просачиваться. Сначала — в нижнем коридоре, где каменная кладка была старой и швы давно просили обработки. Потом — в архивном зале: конденсат на внутренней стороне оконных стекол, к утру из-за мороза превращающийся в белые полосы по периметру рам. Лев Самуилович обходил помещения дважды в день. Щупал стены, проверял уплотнители, смотрел на термометры. Делал пометки. Цифры складывались в картину, которую он не торопился формулировать словами, просто смотрел на нее и думал.

Однажды ночью он проснулся от резкого, короткого звука откуда-то сверху. Встал, поднялся в купол с фонарем. Осмотрел стыки, обошел телескоп, ничего не нашел. Вернулся, лег, долго смотрел в потолок. Утром обнаружил: в углу купола, там, где секции смыкаются, проступило влажное пятно размером с ладонь. Он стоял и смотрел на него. Потом прошел в котельную, проверил запас угля, сел за стол и взял чистый лист.

Считал долго. Перекладывал цифры, менял допущения, считал снова. Тепла от одной печи на все здание не хватало — это он знал и раньше. Сейчас он считал точнее — на сколько хватит, если сосредоточить тепло в жилом отсеке. Сколько уйдет на купол, сколько на архив. Что можно отдать холоду, а что нельзя. Он считал до вечера. Смотря на ряды бездушных цифр, Лев Самуилович впервые задал себе вопрос, от которого до этого аккуратно отворачивался: «Как я поступлю, когда закончатся последние ресурсы?» Вариантов было всего два: бросить всё и попытаться уйти через замерзающий серпантин или остаться здесь до конца, шаг за шагом отдавая пространство холоду. Лев Самуилович закрыл блокнот. Свой выбор он сделал еще двадцать три года назад, когда подписал контракт.

На следующее утро он взял доски со склада, гвозди, молоток. Прошел коридором до двери в купол, двери тяжелой, металлической, с резиновым уплотнением по периметру. Открыл, вошел, постоял. Телескоп стоял под чехлом, тихий, как всегда. Лев Самуилович положил руку на чехол, постоял еще секунду. Потом вышел, закрыл дверь и начал прибивать

доски. Работал молча, методично. Три доски — поперек дверного проема, вставленные враспор между косяком и стеной. Четвертую — клином снизу. Подергал — не двигается. Когда закончил, отступил, осмотрел. Ровно, надежно, держит. Убрал инструмент, постоял лицом к заколоченному проему — недолго, несколько секунд, потом повернулся и пошел обратно. В журнале в тот день записал: «Купол законсервирован. Тепло сосредоточено в жилом отсеке и архиве».

Закрыв журнал, выровнял по краю стола.

За окном туман стоял так же плотно, как вчера. И как позавчера. И как неделю назад. Лев Самуилович заварил чай, сел, обхватив кружку двумя руками. Сидел и грел руки, и больше ни о чем не думал.

Глава 3. Срез долины

Серпантин освободился неожиданно. Несколько дней подряд температура держалась чуть выше нуля, и изморось на дороге начала крошиться — не таять, а именно крошиться, отслаиваясь от камня. Лев Самуилович вышел утром, потрогал первые метры спуска, постоял. Потом вернулся и собрал рюкзак.

Шел осторожно, держась скальной стороны. Туман никуда не делся, только поднялся выше, завис над головой серо-белым потолком. Внизу, в долине было светлее. И тише, чем он ожидал. Поселок он почувствовал раньше, чем увидел. Не запах дыма, что-то другое. Потом увидел.

Главная улица была пустой. Не по-утреннему, по-другому, как бывает в домах, из которых уехали. Несколько окон были разбиты, у крайнего дома дверь распахнута настежь, на пороге — разбитый утюг, рядом детский ботинок. Лев Самуилович остановился, посмотрел на дом, пошел дальше. Чуть дальше по улице — брошенная тележка с вещами. Предметы быта, мебель, сверху — иконка в деревянном окладе. Тележка стояла посреди дороги, одно колесо соскочило с оси. У следующего дома из трубы шел дым, и оттуда доносился запах — не угля, а чего-то смолистого. Лев Самуилович прошел мимо окна, мельком заглянул. Внутри, прямо на полу, не в печи горел костер, обложенный кирпичами. Вокруг сидели люди. Кто-то в шубе, кто-то укрыт бархатной шторой, снятой с окна. Один из компании поднял глаза, посмотрел на Льва Самуиловича без интереса. Потом снова повернулся к огню.

Лавка не работала. Замок на двери был сбит — кто-то побывал здесь раньше. Он толкнул дверь, вошел, взял что мог — консервы, крупу, нашел в углу почти полную канистру с керосином. Оставил деньги на прилавке. Подумал, убрал обратно.

Потом пошел к доктору. Ему нужна была информация, нужна была картина — точная, от человека, который наблюдал. Не слухи, не то, что видно с улицы. Доктор жил и принимал в одном месте — небольшой дом на параллельной улице с белой табличкой на двери. Табличка была на месте. Он постучал, дверь открылась сразу, как будто ждали. Доктор был небольшим, аккуратным мужчиной, прилично одетым, но в халате поверх свитера, выбрит. Лев Самуилович это отметил — выбрит тщательно, как в обычный приемный день.

— Заходите, — сказал доктор.

В приемной было холодно и прибрано. Стулья вдоль стены стояли ровно. На столе — стопка карточек, ручка, стакан с карандашами. На вешалке — пальто, шапка, шарф.

— Что происходит? — спросил Лев Самуилович.

Доктор помолчал секунду.

— Электричество пропало в первую неделю. Влага попала в щиты — сначала здесь, потом везде. Перестали работать телефоны. Не только сеть, сами аппараты.

Доктор говорил ровно, без интонации.

— Машины встали на третий день. В двигателях конденсат.

— Люди?

— Большинство ушли пешком, через перевал — на восток, вниз — на запад. Там, говорили, туман не такой плотный. Уходили семьями, с вещами. Потом уже без вещей, так быстрее. — Пауза. — Некоторые вернулись через два дня. Молчат. Не знаю, что там.

— Остальные?

Доктор посмотрел на стопку карточек.

— Остальные по-разному. Михаил Викторович — учитель — не ушел, я не ушел, еще двое-трое. — Пауза. — И есть те, кто решил иначе. Вы видели, наверное, по дороге.

Лев Самуилович кивнул.

— Я принимаю, — сказал доктор. — Прихожу, сижу, жду. Почти никто не приходит. — Сказал это без горечи, просто как факт. — Но я сижу.

— И еще есть одни, — сказал доктор после паузы. — Им все это даже на руку. Ходят по брошенным домам. Что-то берут, что-то делят. Туман им не мешает — они в нем как дома.

Лев Самуилович встал.

— Вы уходите наверх? — спросил доктор.

— Да.

Дверь закрылась.

На обратном пути он шел быстрее, чем вниз. Рюкзак давил на плечи, дорога стала хуже, туман спускался обратно, изморось начинала схватываться. Но он не останавливался. Думал о том, что серпантин больше не будет чистым. Что сегодня, скорее всего, последний раз. Это был факт. Он его зафиксировал и больше к нему не возвращался.

Обсерватория возникла из тумана темным каменным контуром. Несколько окон с тусклым светом изнутри. Он поднялся на крыльцо, сбил наросты льда с петель, вошел. Закрыл за собой дверь и задвинул засов. Внутри было тепло. Тикал хронометр. Он разобрал рюкзак, потом сел за стол, записал в амбарную книгу, что взял, открыл журнал. Долго смотрел на пустую строку в графе «особые отметки». Написал: «Спуск в поселок. Последний. Серпантин закрывается. Запасы пополнены. Электричество и связь в поселке отсутствуют. Часть жителей ушла. Часть остается.»

Закрыл журнал, выровнял по краю стола.

За окном туман сполз с вершины вниз и начал заполнять долину.

Глава 4. Внутренний туман

Дни стали одинаковыми. Не потому, что ничего не происходило — происходило, и он фиксировал это в журнале. Влага проступала в новых местах — сначала в нижнем коридоре, потом в кладовой. Уголь убывал. Но все это было управляемым, все укладывалось в расчет, который он сделал еще в начале. Дни были одинаковыми в другом смысле — они перестали отличаться друг от друга чем-то, кроме цифр в журнале.

Он сузил периметр. Сначала закрыл нижний коридор — закрыл дверь, забил щели тряпьем, подпер дверь доской. Потом кладовую. Потом дальний конец жилого крыла, куда все равно не заходил. Каждое помещение отдавал холоду осознанно, как отдают лишний груз — без сожаления, с расчетом. В конце концов остался жилой отсек: кухня с печью, смежная комната, где он спал, и архивный зал. Архив он не трогал, держал там тепло любой ценой. Бумага не прощала сырости.

Ритуалы он не менял. Подъем в то же время. Чай, хлеб. Обход теперь короткий, только доступные помещения. Замеры: давление, температура, влажность. Запись в журнал, завод хронометра — лишние полоборота, как перед сном. Он понимал, зачем это делает. Не для института — институт молчал. Не для кого-то другого. Ряд не должен прерываться — это было единственным, что оставалось неизменным, пока все остальное сужалось и закрывалось. Пока ряд продолжался — было для чего вставать в четыре пятьдесят две. Однажды он поймал себя на том, что заводит хронометр дважды — не заметив, что уже завел. Остановился, посмотрел на часы. *Когда это было — утром или вечером?* Вспомнил. Все было в порядке. Но подумал об этом дольше, чем следовало.

Снаружи обсерватория обрастала льдом. Он видел это в окно — постепенно, день за днем. Сначала обледенели водостоки. Потом подоконники, потом крыльцо и перила. Туман оседал на камнях и замерзал, каждый день прибавляя новый слой, тонкий, почти прозрачный. Вскоре здание снаружи выглядело как что-то нежилое — каменный монолит, покрытый белым. Лев Самуилович смотрел на это без тревоги. Лед держит тепло лучше, чем кажется — он читал об этом когда-то в тексте про арктические станции. Он занес это в журнал. Не как утешение — как факт.

Он читал. Брал книгу с полки — там было несколько десятков, в основном справочники и монографии по астрономии — и читал вечерами при керосиновой лампе. Потому что это было занятие, у которого было начало и конец, и пока он читал, тишина была не пустой. Иногда ловил себя на том, что перечитывает одну страницу дважды — мысли уходили, и он не замечал. Тогда он закрывал книгу, смотрел на огонь в печи, потом открывал снова. В монографии Цесевича, которую брал чаще остальных, держал между страницами листок. На этом листе делал пометки: «Отвлёкся. Вернулся». Это помогало.

Однажды ночью ему приснился поселок. Не таким, каким он видел его в последний раз — пустым, с открытыми дверями домов. А обычным, летним. Хозяин лавки с желтыми усами взвешивал крупу. Почтальонша сортировала письма. Доктор шел по улице в халате, кивнул ему издалека. Он проснулся в темноте, лежал и смотрел в пустоту. За окном выл ветер — редкость, обычно туман его гасил. Значит, наверху что-то менялось. Встал, записал показания. Ночной замер он ввел недавно, когда понял, что все равно просыпается. Давление упало на три единицы. Он отметил это, вернулся, лег.

Сон не вернулся. Он лежал и думал о докторе, о том, как тот сидел за столом в холодной приемной и ждал. О табличке на двери, которая была на месте. Доктор держал свой периметр. Лев Самуилович свой. Разница была в том, что доктор ждал кого-то снаружи. Он — нет.

Потом перестал думать об этом.

Хронометр тикал.

Глава 5. Торжество периметра

Уголь он теперь считал каждое утро. Не потому, что боялся — просто это стало частью утреннего обхода, таким же обязательным, как замер давления или завод хронометра. Он открывал дверцу, смотрел, делал отметку в амбарной книге. Цифра убывала медленно, но убывала, он это видел.

Январь был самым темным. Световой день сжался до нескольких часов, и эти часы были белыми — не от света, а от тумана, который не давал свету стать светом. Лев Самуилович жег керосин экономно, передвигался по жилому отсеку почти в темноте — знал расположение всего наизусть и мог ориентироваться с закрытыми глазами. Холод снаружи давил на стены. Он чувствовал это кожей, когда проходил мимо наружных стен. Камень промерз насквозь, и тепло печи не успевало его прогреть, только держало температуру в комнате чуть выше нуля. Этого было достаточно.

Он перестал думать о том, что происходило внизу. Его желания или чувства были ни при чем — просто это стало нефункциональным. То, что он не мог изменить, не заслуживало места в его голове. Поселок был в другом мире. Его мир был — кухня, архив, хронометр. Печь, которую он топил трижды в день. Журнал, который он вел без пропусков. Ряд, который не прерывался.

Он держал периметр.

Стук он слышал вечером, когда уже готовился ко сну. Сначала подумал — лед. Здание иногда издавало такие звуки, особенно когда температура резко падала: глухие удары в стенах, будто камень трескался. Он привык к этим звукам, научился их читать. Но этот был другим.

Он поставил лампу на стол и прислушался.

Снова. Глухо, с паузами — как бьет человек, у которого мало сил.

Лев Самуилович встал, взял лампу, прошел к входной двери.

За дверью секунду было тихо. Потом снова — глухой удар. Еще один. Потом что-то, что могло быть голосом, но туман и дерево съедали звук, и разобрать было невозможно.

Он стоял у двери и думал.

Не о том, кто там. Это было ясно — беженцы, те, кто пытался уйти через перевал и не ушел. Он думал о том, что будет, если открыть. Массивная дверь держала холод — не идеально, но держала. Если открыть, ворвется воздух — сырой, холодный, ворвется столько, сколько успеет войти, пока дверь будет открыта. Печь не справится с объемом, температура упадет, влага осядет на архивных папках — он это знал точно, видел, как конденсат появляется даже от малого перепада температуры. Архив, который он держал сухим всю зиму. Люди за дверью были мокрыми, они принесут с собой туман.

Удары стали тише. Реже.

Лев Самуилович стоял и слушал. Лампа в руке давала небольшой круг света. За этим кругом — темный коридор, промерзшие стены и засов. Задвинутый, холодный, надежный.

Он думал о докторе. О том, как тот сидел в нетопленной приемной и ждал. Держал свой периметр. Лев Самуилович держал свой. Разница была простой: доктор оставил дверь открытой. Он — нет.

Удары за дверью стихли.

Он постоял еще. Потом медленно повернулся и пошел обратно в кухню. Поставил лампу на стол, сел. Печь гудела ровно, хронометр тикал. Он взял амбарную книгу. Уголь — на три недели, сухари — на две. Посмотрел на цифры. Закрыв. Взял журнал, открыл на сегодняшней странице. Столбы цифр уже были заполнены, осталась графа «особые отметки». Он взял ручку, написал ровным почерком время, когда стихли удары, — и рядом: «Стук в дверь. Прекратился».

Закрыв журнал, выравнивал по краю стола. Ручку положил аккуратно посередине стола.
Откинулся на спинку стула, закрыл глаза.
В абсолютной тишине тикал хронометр.
Лев Самуилович этого не слышал. Он уже спал.

ЭПИТАФИЯ

ПОВЕСТЬ

Работа могильщика на острове Молокаи — хоронить людей. Менеджера — увольнять сотрудников по списку.

Глава 1. Земля / Взгляд

I.

Земля здесь другая. Не плотная, как на материке, — а рыхлая, пористая, будто уже привыкшая принимать. Лопата входила легко, почти без сопротивления, и это единственное, за что могильщик был ей благодарен в первые годы. Потом перестал быть благодарен вообще за что-либо. Перестал замечать. Это был Молокаи — гавайский остров, куда с середины прошлого века отправляли заболевших лепрой. Пожизненно. Корабль приходил, высаживал людей на берег и уходил. Иногда родственники бросали вещи с борта в воду, и люди заходили по грудь, чтобы поймать их. Иногда не бросали ничего. Остров принимал всех. Остров не отпускал никого.

Он работал с рассвета. Не потому что так приказали — давно уже никто ничего не приказывал, остров жил по собственному, молчаливому распорядку, — а потому что утром тело двигалось лучше. И меньше думало. Яма должна была быть глубиной в четыре локтя. Он не мерил верёвкой — просто знал. Тело помнило само: столько взмахов, какой угол, какое усилие. Руки делали работу без участия головы, и это было правильно. Голова была лишней частью. Голова задавала вопросы.

Тачка стояла в трёх шагах — двухколёсная, деревянная, с разошедшимися ручками, которые он перемотал верёвкой уже дважды. На ней лежала старая дверь — широкая, потемневшая, с которой уже давно сняли петли. Именно на дверь клали тело. Он не знал, кто придумал это до него. Просто так было заведено, и это работало: дверь держала форму, не прогибалась, позволяла переложить аккуратно. На двери, под серым полотном, лежал тот, кого привезли сегодня утром.

Он не смотрел в ту сторону. Это тоже было правило — не его, не чьё-то конкретное, просто то, что выработалось само, как мозоль на ладони: не смотреть на лицо. Смотреть на землю, на глубину. На то, что ещё нужно вынуть. Пока смотришь на землю — ты работник. Если смотришь на лицо — ты уже кто-то другой, а этого другого здесь некому было содержать.

Он бросил очередной пласт в сторону. Где-то над бухтой кричали крачки. Он не слышал их — не то что был глухим, просто давно перестал различать звуки, которые не несли информации. Крачки кричали всегда. Это был фон, как ветер, как собственное дыхание.

Четыре локтя. Он воткнул лопату в край, вылез, отряхнул колени. Взял тачку за ручки — аккуратно, привычно, чуть наклонив, чтобы не задеть край ямы — и сделал то, что делал всегда: быстро, не глядя, одним движением.

Земля приняла. Он начал засыпать.

II.

— Михаил.

Пауза.

— Присядьте, пожалуйста.

Андрей Вениаминович Крест — именно так, с отчеством, он и думал о себе в рабочие часы. Отчество создавало дистанцию между ним и тем, что происходило в этом кабинете — сложил руки на столе и посмотрел на человека напротив.

Михаил был мужчиной лет сорока. Светлая рубашка, немного измятая — видимо, приехал прямо с объекта. Плечи широкие, руки рабочие, непривычные к офисным стульям. Он сел — неловко, слишком прямо, как садятся люди, которые не знают, куда деть уважение к чужому пространству.

Крест это заметил. Он всегда замечал такие вещи — не из интереса, а потому что это помогало выбрать интонацию. С такими людьми нужна была определённая жестокость — определённая. Они плохо переносили обходные пути.

— Михаил, — повторил он. — Вы работаете у нас семь лет.

— Восемь, — сказал Михаил.

Крест кивнул. Восемь. Хорошо. Это не меняло ничего, но он кивнул — потому что человек имел право поправить. Это была мелкая уступка, которая ничего не стоила и которая, он знал, помогала принять то, что шло следом.

— Восемь лет, — повторил он. — Я ценю это. И я хочу, чтобы вы услышали это не как формулу.

Михаил молчал. Смотрел — прямо, без агрессии, просто смотрел. Крест не отводил глаз. Он никогда не отводил глаз — это тоже было принципом, выработанным не из смелости, а из убеждения: человек заслуживает, чтобы на него смотрели в этот момент. Это минимум. Это то небольшое, что он мог дать.

— Компания закрывает направление. Полностью. Это решение принято на уровне выше меня, и оно окончательное. С пятницы ваша должность упраздняется.

Михаил не шелохнулся.

Крест продолжал:

— Вы получите компенсацию — три оклада, это выше того, что предусмотрено законом. Отдел кадров подготовит документы к пятнице. Рекомендательное письмо я напишу лично, с конкретными примерами — не общими словами.

Он говорил ровно, не торопясь, давая каждой фразе осесть. Михаил слушал. Потом медленно опустил взгляд на свои руки, лежавшие на коленях. Несколько секунд смотрел на них. Потом снова поднял глаза.

— Это всё? — спросил он.

— Да, — сказал Крест. — Если есть вопросы — я здесь.

Вопросов не было. Михаил встал — так же неловко, как садился, только теперь что-то в его плечах изменилось, что-то едва заметное, как будто воздух над ними стал чуть плотнее, — и вышел.

Крест проводил его взглядом до двери. Дверь закрылась. Он сделал пометку в блокноте — фамилию, дату, статус. Открыл следующий файл. В списке было ещё четырнадцать человек. Он работал быстро.

III.

Могильщик сидел на краю насыпи и ел. Хлеб был чёрствым, сыр — твёрдым. Он жевал методично, глядя на воду. Вода была синей — слепяще, почти неправдоподобно, как бывает только в тех местах, где море не знает пасмурных месяцев. Небо и вода не сливались — они спорили друг с другом, каждый за свой оттенок, и горизонт между ними был резкий, как порез.

На острове было тихо. Тишина здесь была особая — не пустая, а насыщенная, как земля после дождя. В ней что-то жило, но это что-то не имело языка.

Он не говорил уже — он не считал, сколько лет. Сначала это было решением. Потом перестало быть чем-либо, просто стало частью того, как он устроен, как правая рука или привычка спать на боку. Слова лежали где-то внутри — он знал, что они там, иногда чувствовал их присутствие, как чувствуешь старый шрам в холодную погоду. Но они не рвались наружу. Незачем было. Здесь никто не ждал слов.

Он доел, убрал тряпицу за пазуху. Следующая яма была на северной стороне. Там уже ждали. Он взял лопату и пошёл, не оглядываясь.

IV.

В пятницу Крест задержался. Не потому что было много работы — это не причина задерживаться. Он вдруг обнаружил, что сидит и смотрит в окно. Без мысли, без цели. Просто смотрит.

За окном был март. Мокрый, безликий. Люди внизу шли с зонтами или без, воротники подняты, взгляды вниз. Он взял со стола блокнот. Открыл на последней сделанной записи.

Соколов М. В. — 14.03 — закрыт.

Четырнадцать строк. Четырнадцать фамилий, дат, статусов. Аккуратно, полностью. Он всё сделал правильно. Смотрел в глаза, говорил ясно. Дал больше, чем требовалось. Написал письма. Это было честно — в той мере, в которой честность вообще применима к подобным вещам. Он был уверен в этом. Почти уверен.

Крест убрал блокнот в ящик стола, надел пальто и вышел. В лифте он поймал своё отражение в металлической двери — размытое, чуть вытянутое, как бывает в плохих зеркалах. Смотрел на него секунду. Лифт открылся, он вышел в дождь.

Глава 2. Работа

I.

На острове была система. Не написанная нигде, не объяснённая вслух — просто существующая, сложившаяся сама по себе, когда людей оставляют наедине с необходимостью. Больных принимали на западной стороне. Лечили — или не лечили — в длинном белом здании, которое все называли просто «корпус». Тех, кто переставал нуждаться в лечении, переводили в маленькие домики ближе к склону. А тех, кто переставал нуждаться вообще в чём-либо, — везли к могильщику.

Он был последним звеном. Замыкающим. Это не тяготило его. Тяготить могло бы что-то, что он выбрал, — а он ничего не выбирал. Просто однажды оказалось, что он умеет копать, что руки достаточно сильные, что никто другой не хочет, — и всё. Так бывает с работой, которую никто не хочет делать: она находит человека сама, как вода находит трещину.

Утром он получал записку. Иногда одну, иногда две, иногда не получал вовсе. Записки писал фельдшер — короткие, без лишнего: номер участка, иногда размер, если нужна яма поменьше. Никаких имён. Они почти не разговаривали. Это устраивало обоих.

Сегодня записка была одна. Он прочитал её, сложил вчетверо, убрал в карман куртки. Взял инструмент, вышел.

Солнце уже стояло высоко — здесь оно поднималось быстро и сразу давало жар, без постепенности, без утреннего снисхождения. Он шёл по тропе, которую протоптал сам за эти годы, — она огибала корпус с севера, чтобы не проходить мимо окон палат, — и думал о грунте. Северный участок был каменистее. Нужно будет взять второй инструмент, с узким лезвием.

Он вернулся, взял, вышел снова.

Это была работа. Всё было устроено просто и функционально, как устроен любой честный труд: ты делаешь то, что нужно сделать, а не то, что хочешь. В этом была даже своего рода свобода — та, которую не замечаешь, пока она есть. Он замечал. Потому что помнил, каково было до.

До — это когда слова ещё казались нужными. Когда он ещё пытался объяснить что-то себе или кому-то: почему так, зачем это, что будет дальше. Слова были тогда инструментом, которым он пользовался плохо, — они не удерживали то, что он пытался в них вложить, высказывали, меняли форму, возвращались чужими. Потом он перестал. И стало проще.

Иногда он смотрел на свои руки — без тревоги, уже без тревоги. В первые годы он смотрел по-другому: искал. Пятно, утолщение, онемение в пальцах. Лепра давала знаки рано, если знать, куда смотреть, а он знал — насмотрелся. Потом перестал искать. Не потому что успокоился — просто в какой-то момент понял, что это не меняет ничего. Заражён или нет — он останется. Кто-то должен был делать эту работу, и уйти было некуда, и он принял это так же, как принимают погоду: не соглашаясь, но и не споря. Остров был его. Или он был островным. Разница перестала иметь значение.

Он дошёл до северного участка, воткнул лопату в землю, проверил угол. Начал.

II.

Понедельник Крест начинал одинаково. Кофе — без сахара, без молока, в одной и той же кружке с отколотым краем, которую он принципиально не менял, потому что она хорошо грелась в ладонях. Сводка за неделю — цифры, показатели, отклонения. Письма — сначала срочные, потом остальные. Потом — план на день, расставленный по времени с промежутками, потому что без промежутков всё сдвигалось и терял темп. Это была система, она работала. Он доверял системам больше, чем людям, — не из цинизма, а из опыта. Люди были непредсказуемы не потому что плохие, а потому что перегружены собственными переменными: настро-

ением, усталостью, тем, что было вчера дома. Система не уставала. Система не приходила с красными глазами и не отвлекалась на личное.

В десять у него была встреча с командой — плановая, еженедельная. Он провёл её быстро: результаты, задачи, сроки. Никаких длинных обсуждений. В двенадцать — разговор с юристом по компенсациям. Стандартный. В половину второго — обед, двадцать минут, за рабочим столом. В два — снова список. Он был длинным. После прошлой недели в нём осталось ещё девять человек, которых нужно было вызвать, усадить напротив, сказать. Он не откладывал это на конец дня — конец дня был хуже для всех, люди уставали, теряли способность слышать. Лучше в середине, когда голова ещё работает и можно осмыслить.

Он вызвал первого. Потом второго. После третьего встал, налил воды, выпил стоя у окна. Март снаружи был всё такой же — мокрый, серый, терпеливый. Он смотрел на него секунду, потом вернулся к столу.

Это была работа. Неприятная — он не отрицал этого даже про себя. Но необходимая. Кто-то должен был её делать, и лучше тот, кто делает её правильно: честно, быстро, без театра. Он видел, как другие затягивали такие разговоры, ходили вокруг, смягчали до потери смысла. Люди потом говорили, что не поняли, что произошло. Это было куда безжалостнее прямого слова.

Он говорил прямо. Смотрел в глаза. Давал человеку возможность уйти с пониманием, а не с иллюзией. Это было правильно. Он был в этом уверен.

После пятого он снова встал. Снова выпил воды, постоял у окна чуть дольше. Потом сел, открыл список. Вызвал шестого.

III.

Могильщик обедал там же, где работал. Не из мрачности — просто далеко было возвращаться, и незачем. Он садился где-нибудь в тени, если тень была, ел, смотрел на воду или на склон, потом вставал и продолжал. Иногда кто-то из больных, кто ещё ходил, забредал сюда — не специально, просто дорожки на острове были такие, что все в конце концов куда-нибудь забредали. Они видели его, останавливались. Он не смотрел на них. Они уходили.

Один раз молодой — совсем молодой, лет восемнадцати — остановился и не ушёл. Стоял. Могильщик почувствовал это — спиной, как чувствуешь взгляд, — и обернулся. Парень смотрел не на него. Смотрел на участок — на ровные холмики, на деревянные метки. Лицо у него было спокойное. Не испуганное. Просто — смотрел.

Потом перевёл взгляд на могильщика. Могильщик выдержал этот взгляд, не отвернулся. Потом снова взял хлеб и продолжил есть. Парень ушёл. Больше они не пересекались.

Это была работа. Работа не предполагала думать о том, что вокруг нее. Он доел, встал, взял лопату. Солнце перевалило зенит и начало клониться — здесь это было хорошо видно по тени от одинокой пальмы на краю участка. Тень показывала время лучше любых часов. Он работал до вечера. Вечером возвращался. Иногда, возвращаясь, он находил её у двери. Она из тех, кто ещё ходил — значит, не в самом конце, но и не в начале. Приходила изредка, без предупреждения. Просто стояла. Он открывал дверь, она входила. Иногда оставалась до утра. Иногда уходила раньше, пока он ещё не спал.

Они почти не разговаривали. Не потому что он молчал — она тоже была немногословной, остров делал людей такими, — а потому что слова были не нужны. Она садилась, он садился. Иногда на столе появлялась бутылка — ава, мутноватая, чуть сладкая на вкус, та, что варили где-то в западных бараках из корня, который рос на склоне. Он не знал, откуда она её брала, не спрашивал.

Они пили молча. Вода, ветер снаружи, крачки. Он не понимал, что её привлекает. Иногда думал: может, он сам. Потом думал: вряд ли. Потом переставал думать — это было из области вопросов, на которые у него не было способа ответить. Может, её привлекало то, что он

могильщик. Что рядом с ним уже ничего не нужно бояться — или наоборот, всё время нужно, и это честнее, чем притворяться.

Утром снова получал записку. Это была система. Она работала.

IV.

В пятницу вечером Крест обнаружил, что список закрыт. Все девять вызваны, разговоры проведены, документы переданы в кадры. Он открыл файл, просмотрел строчки. Всё верно, всё в срок, всё аккуратно. Он должен был почувствовать удовлетворение — ровное, рабочее, то, которое приходит от завершённого дела. Обычно оно приходило. Сегодня он ждал его секунду дольше, чем обычно. Потом закрыл файл, собрал вещи.

В лифте снова поймал своё отражение в металлической двери — то же смазанное, чуть вытянутое лицо. На этот раз не смотрел на него. Смотрел на кнопки. Первый этаж, двери открылись, он вышел.

На улице было холодно, и он поднял воротник — привычным движением, не думая, — и пошёл к машине. Мимо шли люди, он не смотрел на них.

Дома было тихо. Он разулся в прихожей. В документах он всё ещё значился женатым — это была деталь, которую он не менял, потому что менять было незачем, это требовало усилий, которые он предпочитал тратить на другое. Жена ушла давно. Никто на работе не знал, да и не спрашивал. Он не рассказывал — не из скрытности, просто это не было той частью жизни, которая имела отношения к делу.

Кошка встретила его в коридоре. Она была рыжей, с белым пятном на груди, и смотрела на него так, как умеют смотреть только кошки — без вопроса, без претензии, просто: вот ты, вот я, хорошо. Он наклонился, почесал за ухом. Она зажмурилась и потянулась. Он иногда ловил себя на том, что разговаривает с ней — негромко, без смысла, просто так. Это было единственное существо, с которым он позволял себе это. Со всеми остальными слова были инструментом: точными, нужными, взвешенными. Здесь — просто звук, просто голос в тихой квартире.

Он не рассказывал об этом никому. Стеснялся — не самой кошки, а того, что она значила для него. Что это единственное существо, которому он отдавал что-то, не рассчитывая отдачи. Она прыгнула на диван и свернулась. Он сел рядом, положил руку. Это тоже была система. Она тоже работала.

Глава 3. Без имени

I.

Записки фельдшера никогда не содержали имён. Могильщик не просил их добавлять — и фельдшер не предлагал. Это сложилось само, в самом начале, когда он только пришёл к этой работе и ещё не знал точно, как она устроена. Фельдшер тогда написал первую записку, протянул — и он взял, прочитал, кивнул. Имени не было. Он не спросил. Фельдшер не объяснил. Так и пошло.

Потом он понял, что это было правильно. Как бывает правильно то, что не нуждается в обосновании. Имя давало форму, форма давала вес, вес был лишним. Он знал, что у каждого было имя — где-то в бумагах корпуса, в списках, которые вёл фельдшер в толстой книге с коричневой обложкой. Имена там были, просто до него они не доходили. До него доходило тело на двери. Тачка, участок, размер ямы. Этого было достаточно.

Сегодня тачка была лёгкой — неожиданно лёгкой, так что он едва не потерял равновесие, когда тронулся. Скорректировал усилие, повез, поставил. Не смотрел, начал копать. Грунт был сухой — давно не было дождя, земля взяла последние запасы воды и уплотнилась. Лопата входила с усилием, приходилось нажимать ногой. Он нажимал. Методично. Один ритм, один угол, одна глубина.

Где-то в корпусе хлопнула дверь. Он не поднял головы. Работа не требовала головы. Работа требовала рук, ног, спины. Голова была гостем — незванным, бесполезным. Он давно научился выпроваживать её: просто давал телу задачу и ждал, пока голова устанет пытаться встать. Обычно это занимало несколько минут. Сегодня голова устала быстро. Он копал.

II.

В понедельник на столе Креста лежала новая папка. Он открыл её ещё до кофе — редкий случай, но папка была помечена как срочная, и он не любил оставлять срочное в стороне. Внутри был список. Тридцать семь позиций.

Он закрыл папку, встал, сварил кофе. Вернулся, открыл снова.

Тридцать семь — это было много даже по меркам реструктуризаций, которые он видел. Не катастрофически много — он слышал о случаях, когда цифра была трёхзначной, — но достаточно, чтобы понять: это уже не точечные решения, это процесс. Процесс требовал другого подхода.

Он взял чистый лист. Начал делить список на группы: по отделам, по срокам, по сложности разговора. Некоторые позиции были простыми — люди на испытательном сроке, временные контракты, те, кто и сам, скорее всего, уже знал. Другие были сложнее: долгосрочные, с выслугой, с проектами, которые они вели годами.

Он работал методично. Переставлял, группировал, расставлял приоритеты.

Через час перед ним лежал план. Аккуратный, реалистичный, разбитый на три недели. Он перечитал его, внёс две правки, отложил.

Взял кофе. Кофе уже остыл. Он выпил его холодным, не поморщившись, — давно перестал обращать внимание на температуру, когда думал о деле. Потом посмотрел на план ещё раз. Тридцать семь строчек. Тридцать семь разговоров. Имена, фамилии, отдел, должность. Он видел их, но не задерживался на них взглядом. Имена были идентификаторами, не более. Они помогали не перепутать, не ошибиться с бумагами, произнести правильно при встрече. Это было важно — произносить правильно, он всегда следил за этим. Но произносить правильно и помнить — разные вещи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.